

ПОПРЫГУНЬЯ ИЗБРАННОЕ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

АНТОН ЧЕХОВ

АНТОН ЧЕХОВ

Попрыгунья. Избранное

ТД "Белый город"

1882–1903

УДК 821.161.1
ББК 84Р1-44

Чехов А. П.

Попрыгунья. Избранное / А. П. Чехов — ТД "Белый город",
1882–1903

ISBN 978-5-00119-040-0

Творчество А.П. Чехова, непревзойденного мастера драматургии, юмористических рассказов и лирической прозы, известно во всем мире. В настоящее издание вошли лучшие повести и рассказы великого русского писателя. В сборник включен очерк о жизни и творчестве А.П. Чехова авторства известного литературного критика и публициста рубежа XIX–XX веков С.А. Венгерова, а также краткая справочная информация о входящих в него произведениях. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся русской классической литературой и культурой.

УДК 821.161.1

ББК 84Р1-44

ISBN 978-5-00119-040-0

© Чехов А. П., 1882–1903
© ТД "Белый город", 1882–1903

Содержание

Цветы запоздалые	7
Глава I	7
Глава II	13
Глава III	23
Смерть чиновника	33
Ванька	35
Унтер Пришибеев	38
Счастье	41
Володя	47
Скучная история	55
Глава I	56
Глава II	63
Глава III	72
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Антон Чехов
Попрыгунья. Избранное

© ООО ТД «Белый город», 2019

* * *



Цветы запоздалые

Посвящается Н.И. Коробову

Глава I

Дело происходило в одно темное, осеннее «послеобед» в доме князей Приклонских.

Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные, плачущие женщины: Христом Богом, честью, прахом отца.

Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала.

Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами... Тысячу раз вспомнила она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и т. д. Напомнила даже и о докторе Топоркове.

Доктор Топорков был спицей в глазу князей Приклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он – ну, не глупо ли? – молодой, блестящий доктор, живет барином, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.

– Он всеми уважаем, – сказала княгиня, плача и не утирая слез, – всеми любим, богат, красавец, везде принят... Твой-то слуга бывший, племянник Никифора! стыдно сказать! А почему? А потому, что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается... Работает от утра до ночи... А ты? Боже мой, Господи!

Княжна Маруся, девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, умоляла брата Егорушку с наименьшей энергией.

Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином, гладила его по плечи, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она так любила брата! По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества! Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя: вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу, и в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы ее чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, все извиняющей причиной? Какая?

– Жорж! – говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое, красноносое лицо. – Ты с горя пьешь, это правда... Но забудь свое горе, если так! Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись! Богатырем будь! При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой можно сносить удары судьбы! О! Вы, неудачники, все малодушны!..

И Маруся (простите ей, читатель) вспомнила тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными, кроличьими глазками глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть... Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой) совести. Он был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости...

Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиной зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они все умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал:

- Ладно, исправлюсь!
- Честное и благородное слово?
- Накажи меня Бог!

Мать и сестра ухватились за него руками и заставили еще раз побожиться и поклясться честью. Егорушка еще раз побожился, поклялся честью и сказал, что пусть гром разразит его на этом самом месте, если он не перестанет вести беспорядочную жизнь. Княгиня заставила его поцеловать образ. Он поцеловал и образ, причем перекрестился три раза. Клятва была дана, одним словом, самая настоящая.

– Мы тебе верим! – сказали княгиня и Маруся и бросились обнимать Егорушку.

Они ему поверили. Ну как не поверить честнейшему слову, отчаянной божбе и целованию образа, взятым вместе? И к тому же где любовь, там и бесшабашная вера. Они ожили, и обе, сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки. Выпроводив гостью, они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь... Они порешили, что Егорушка далеко пойдет, что он скоро поправит обстоятельства и им не придется терпеть крайней бедности – этот постылый Рубикон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся. Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умен и так знатен, что едва ли найдется такая женщина, которая осмелится не полюбить его! В заключение княгиня рассказала биографии предков, которым скоро начнет подражать Егорушка. Дед Приклонский был посланником и говорил на всех европейских языках, отец был командиром одного из известнейших полков, сын же будет... будет... чем он будет?

– Вот вы увидите, чем он будет! – порешила княжна. – Вот вы увидите!

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, – так хороши были сны! Этими снами судьба, по всей вероятности, заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа: иногда и она платит вперед.

Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее bébé¹ в блестящем генеральском мундире, а Маруся аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому князей Приклонских подъехала простая извозчичья пролетка. В пролетке сидел официант из «Шато де Флер» и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях «челаэка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Извозчик соскочил с козел и позвонил у подъезда. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по

¹ малютка (франц.).

лестнице. Старый Никифор, не удивляясь и не ужасаясь, привычной рукою раздел неподвижное тело, уложил поглубже в перину и укрыл одеялом. Прислугой не было сказано ни одного слова. Она давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой.

На другой день, утром, пришлось ужаснуться.

Часов в одиннадцать, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельству, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.

– Должно полагать, помирают-с! – сказал Никифор. – Извольте посмотреть!

Лица княгини и Маруси стали белы, как полотно. Из рта княгини выпал кусочек бисквита. Маруся опрокинула чашку и обеими руками ухватила за грудь, в которую застучало врасплох застигнутое, встревоженное сердце.

– В три часа ночи приехали навеселе, стало быть, – докладывал Никифор дрожащим голосом. – Как обнаковенно... Ну, а теперь, Господь их знает, от чего это, мечутся и стонут...

Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальню Егорушки.

Егорушка, бледно-зеленый, растрепанный, сильно похудевший, лежал под тяжелым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому крови. Если бы Маруся нагнулась к его лицу, она увидела бы ранку на верхней губе и отсутствие двух зубов на верхней челюсти. От всего тела веяло жаром и спиртным запахом.

Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали.

– Это мы виноваты в его смерти! – сказала Маруся, хватая себя за голову. – Мы вчера огорчили его своими упреками, и... он не перенес этого! У него нежная душа! Мы виноваты, маман!

И в сознании своей виновности они обе широко раскрыли глаза и, дрожа всем телом, прижались друг к другу. Так дрожат и жмутся друг к другу видящие, что над ними сейчас с шумом и страшным треском обвалится потолок и раздавит их под своею тяжестью.

Повар догадался сбегать за доктором. Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиных глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальне Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.

– Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! – сказал он княгине умоляющим голосом. – Я не знаю, но, по моему мнению, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности... Ничво!

Марусе же он сказал совершенно другое:

– Я не знаю, княжна, но, по моему мнению... У всякого свой мнение, княжна. По моему мнению, его сиятельство... пфф!.. швах, как говорит немец... Но все зависит... зависит, так сказать, от кризис.

– Опасно? – тихо спросила Маруся.

Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого свое мнение... Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.

Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дóроги знаменитости, но... что же делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку. Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро... Хотели даже послать за другим доктором и порешили назвать Топоркова невежей, когда он придет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до

глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Прошел он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представительен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Все – барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шелк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимаясь Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом.

Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.

– Спасите его, доктор! – сказала она, поднимая на него свои большие глаза. – Умоляю вас! На вас вся надежда!

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

– Открыть вентиляции! – скомандовал он, войдя к больному. – Почему не открыты вентиляции? Дышать чем же?

Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляций не оказалось. Печь не топилась.

– Вентиляций нет, – робко сказала княгиня.

– Странно... Гм... Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!

И чуточку возвысив голос, Топорков прибавил:

– Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!

Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтеньем подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, – так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..

Кровать поставили рядом с роялем. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.

– Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! – отчеканивал Топорков, слушая княгиню. – Лишние могут уйти отсюда!

Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.

– Не мешает надеть горячечную рубаху, – сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово голосом.

Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.

– Князь Приклонский, – сказала княгиня.

– Приклонский? – переспросил Топорков.

«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших... помещиков!» – подумала княгиня. Слово «господ» княгиня не сумела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!

В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:

– Доктор, он не опасен?

– Я думаю.

– По вашему мнению, выздоровеет?

– Полагаю, – ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.

По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.

– Как он внимателен, как мил! – сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!

– Ва-а-ажный господин! – заметил Никифор, давно уже не выдавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время оно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.

Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.

Вечером, по заходе солнца, с изнемогавшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:

– Я умираю, татап!

И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.

В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела от отчаяния.

– Не знаю-с! – говорил ей Топорков. – Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.

Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв все на свете, давая обеты и молясь.

Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и, когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала в обморок.

Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:

– Я здорова.

На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:

– Я обязана вам, доктор, спасением моих детей! Благодарю!

– Что-с?

– Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!

– А... Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, все равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра вечером заеду.

И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.

Глава II

День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смиренно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться...

Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет, греющий, ласкающий, бил и в окна Приклонских; он играл на коврах, стульях, рояле. Все было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Выздоровливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы? Маруся и Егорушка каждую минуту чувствовали себя отпущенниками. Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться, жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду. Фуров, протестовавший векселя, сплетни, Егорушкино поведение, бедность – все было забыто. Не забыты были одни только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая мама и... доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту.

– Удивительный человек, всемогущий человек! – говорила она. – Как всемогуще его искусство! Посуди, Жорж, какой высокий подвиг: бороться с природой и победить!

И говорила она, ставя руками и глазами после каждой напыщенной, но искренно сказанной фразы большой восклицательный знак.

Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Он сам уважал строгое лицо Топоркова и был уверен, что своим выздоровлением обязан одному только ему. Мама сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей.

Ей нравилось в Топоркове не только умение лечить, но и «положительность», которую она успела прочесть на лице доктора.

Старым людям почему-то сильно нравится эта «положительность».

– Жаль только, что он... он такого низкого происхождения, – сказала княгиня, робко взглянув на дочь. – И ремесло его... не особенно чистое. Вечно в разной разности копается... Фи!

Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушку тоже покорило.

Он терпеть не мог барской спеси и важничанья.

Бедность хоть кого научит! Ему не раз приходилось испытать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его.

– В нынешние времена, мутер², – сказал он, презрительно подергивая плечами, – у кого есть голова на плечах и большой карман в панталонах, тот и хорошего происхождения, а у кого вместо головы седалище тела человеческого, а вместо кармана мыльный пузырь, тот... нуль, вот что-с!

² мамаша (нем.).

Говоря это, Егорушка попугайничал. Эти самые слова слышал он два месяца тому назад от одного семинариста, с которым подрался в бильярдной.

– Я с удовольствием променял бы свое княжество на его голову и карман, – добавил Егорушка.

Маруся подняла на брата глаза, полные благодарности.

– Я сказала бы вам многое, тамап, но вы не поймете, – вздохнула она. – Вас ничем не разубедишь... Очень жаль!

Княгиня, уличенная в рутинерстве, сконфузилась и принялась оправдываться.

– Впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора – барона, – сказала она. – Да, да... И за границей тоже... Это правда... Образование много значит. Ну, да...

В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз: вошел важно, ни на кого не глядя.

– Не употреблять спиртных напитков и избегать, по возможности, излишеств, – обратился он к Егорушке, положив шляпу. – Следить за печенью. Она у вас уже значительно увеличена. Увеличение ее следует всецело отнести на счет употребления напитков. Пить прописанные воды.

И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов.

Маруся выслушала со вниманием, точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку.

– Ну-с? Вы, полагаю, поняли? – спросил ее Топорков.

– О да! Мерсі.

Визит продолжался ровно четыре минуты.

Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела.

Княгиня, покачиваясь, как утка, и краснея, подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак.

– Позвольте вас поблагодарить! – сказала она.

Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятирублевков. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами! По лицу Топоркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут святых; рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернулся к двери.

Княгиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплились хорошим чувством: этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идея. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека.

«Сирота он, бедный, – подумала она. – Одинокий».

– Доктор, – сказала она мягким, старушечьим голосом.

Доктор оглянулся.

– Что-с?

– Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте так добры!

Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал:

– Я выпью чаю.

– Садитесь, пожалуйста! Вот сюда!

Топорков положил шляпу и сел; сел прямо, как манекен, которому согнули колени и выпрямили плечи и шею. Княгиня и Маруся засуетились. У Маруси сделались большие глаза, озабоченные, точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор, в черном поношенном фраке и серых перчатках, забегал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из зала, вызвали потихоньку, таинственно.

Топорков в ожидании чая просидел минут десять. Сидел он и глядел на педаль рояля, не двигаясь ни одним членом и не издавая ни звука. Наконец отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлеными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты.

За Никифором шел с притупленной от важности физиономией Егорушка.

Шествие замыкали княгиня, с вспотевшим лбом, и Маруся, с большими глазами.

– Кушайте, пожалуйста! – обратилась княгиня к Топоркову.

Егорушка взял стакан, отошел в сторону и осторожно отхлебнул. Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. Княгиня и княжна сели в стороне и занялись изучением докторской физиономии.

– Вам, может быть, не сладко? – спросила княгиня.

– Нет, достаточно сладко.

И, как и следовало ожидать, наступило молчание – жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение и желание сконфузиться. Доктор пил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел пред собой ничего, кроме чая.

Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое. Тихину нарушал изредка и Никифор; он то и дело чамкал губами и жевал, точно на вкус пробовал доктора-гостя.

– Правду говорят, что курить вредно? – собрался наконец спросить Егорушка.

– Никотин, алкалоид табака, действует на организм как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросой, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда, как и энергия его, находится в обратном отношении с продолжительностью потребления.

Княгиня и Маруся переглянулись: какой он умница! Егорушка замигал глазами и вытянул свою рыбью физиономию. Он, бедняга, не понял доктора.

– У нас в полку, – начал он, желая ученый разговор свести на обыкновенный, – был один офицер. Некто Кошечкин, очень порядочный мальчик. Ужасно на вас похож! Ужасно! Как две капли воды. Отличить даже невозможно! Он вам не родственник?

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы его губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку. Он заметно презирал Егорушку.

– Скажите мне, доктор, я окончательно выздоровела? – спросила Маруся. – Могу я рассчитывать на полное выздоровление?

– Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление, на основании...

И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю, начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не

умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть разинув рты и глядеть на ученого почти с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть.

Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испитые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу.

«Прелестное лицо! – думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. – Какой ум и сколько знаний! Зачем Жорж военный? И ему бы быть ученым».

Егорушка смотрел с умилением на доктора и думал:

«Если он говорит об умных вещах, то, значит, считает нас умными. Это хорошо, что мы поставили себя так в обществе. Ужасно, однако, глупо я сделал, что соврал про Кошечкина».

Когда доктор кончил свою лекцию, слушатели глубоко вздохнули, точно совершили какой-нибудь славный подвиг.

– Как хорошо все знать! – вздохнула княгиня.

Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам. Ей сильно захотелось втянуть доктора в разговор, втянуть поглубже, почувствительней, а музыка всегда наводит на разговоры. Да и похвастать своими способностями захотелось перед умным, понимающим человеком...

– Это из Шопена, – заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка. – Прелестная вещь! Она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная. Моя ученица... Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. А вот эта... Вы ее знаете?

И княгиня назвала фамилию одной известной русской певицы.

– Она мне обязана... Да-с... Я давала ей уроки. Милая была девушка! Она была отчасти родственницей моего покойного князя... Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пения?

Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора, какое впечатление произвела на него ее игра?

Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-прежнему безмятежно и сухо. Он быстро допивал чай.

– Я влюблена в это место, – сказала Маруся.

– Благодарствую, – сказал доктор. – Больше не хочу.

Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила. Маруся сконфузилась и, обиженная, закрыла рояль.

– Вы уже уходите. – заговорила княгиня, сильно хмурясь. – Не хотите ли еще чего? Надеюсь, доктор... Дорогу вы теперь знаете. Вечерком, когда-нибудь... Не забывайте нас...

Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошел к своей шубе.

– Лед! Дерево! – заговорила княгиня по уходе доктора. – Это ужасно! Смеяться не умеет, деревяшка этакая! Напрасно ты для него играла, Мари! Точно для чая одного остался! Выпил и ушел!

– Но как он умен, тапан! Очень умен! С кем же ему говорить у нас? Я неуч, Жорж скрытен и все молчит... Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет!

– Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! – сказал Егорушка, выпивая из молочников сливки. – Каков? Рационально, индифферентно, субъективно... Так и сыпет, шельма! Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик!

И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую садилась знаменитость в большой медвежьей шубе. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть ее: она рассматривала доктора, который произвел на нее сильнейшее впечатление. На кого не действует новизна?

А Топорков для Маруси был слишком нов...

Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь.

Жизнь в доме князей Приклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела становились все хуже и хуже, денег становилось все меньше и меньше... Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретенные. Никифор по-прежнему болтал в лавочке, куда посылали его брать в кредит разную мелочь, что господа должны ему триста рублей и не думают платить. То же самое болтал и повар, которому, из сострадания, подарил лавочник свои старые сапоги. Фуров стал еще настойчивее. Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил княгине дерзости, когда та умоляла его подождать протестовать вексель. С легкой руки Фурова загалдели и другие кредиторы. Каждое утро княгине приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам о несостоятельности.

Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слез.

Днем княгиня крепилась, ночью же давала полную свободу слезам и плакала всю ночь, вплоть до утра. Не нужно было ходить далеко, чтобы отыскать причину для такого плача. Причины были под самым носом: они резали глаза своею рельефностью и яркостью. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое... кем? ничтожными людишками, разными Фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад, разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорушка по-прежнему вел беспорядочную жизнь, Маруся не была еще пристроена... Мало ли причин для того, чтобы плакать? Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись...

Денег становилось все меньше и меньше, а Егорушка кутил все больше и больше; кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянное во время болезни. Он пропивал все, что имел и чего не имел, свое и чужое. В своем распутстве он был дерзок и нахален до чертиков. Занять денег у первого встречного ему ничего не стоило. Садиться играть в карты, не имея в кармане ни гроша, было у него обыкновением, а попить и пожрать на чужой счет, прокатиться с шиком на чужом извозчике и не заплатить извозчику не считалось грехом. Изменился он очень мало: прежде он сердился, когда над ним смеялись, теперь же он только слегка конфузился, когда его выталкивали или выводили.

Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятого, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже... Она перестала верить в его безнадежную любовь. Ужасная новость! Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования,

но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянный человек! Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя лицо самой княгини, – и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желания... Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают, не беседуют по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками... И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное, разумное лицо; на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день и в самой счастливой обстановке, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.

Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Приклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и переулки. Сидел он в санях так же, как и в кресле: важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого гладкого лба и золотых очков, но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие.

«Этот человек имеет право презирать! – думала она. – Он мудр! А какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошадки! И это бывший крепостной! Каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!»

Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил о себе он слишком чувствительно.

На второй день Рождества, в полдень, когда Приклонские были дома, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь.

– Княгинюшка до-о-о-ма? – послышался из передней старушечий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. – Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство... благодетельница! Как поживать изволите?

– Что вам угодно? – спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка приснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню, хвостиком вверх.

– Не признаете, матушка? Неужто не помните? А Прохоровну забыли? Князьеньку вашего принимала!

И старушонка подползла к Егорушке и быстро чмокнула его в грудь и руку.

– Я не понимаю, – забормотал сердито Егорушка, утирая руку о сюртук. – Этот старый черт, Никифор, впускает всякую дрянь...

– Что вам угодно? – повторила княгиня, и ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом.

Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая (свахи всегда кокетничают), заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и, заинтересованный, подошел к старухе.

– Странно, – сказала княгиня. – Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом! А кто он? Можно узнать?

Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка.

Все покрутили носом: от красного платка с желтыми цветами понесло табачным запахом. Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам.

– Красавец, матушка! – принялась сваха пояснять изображение. – Богат, благородный... Чудесный человек, тверезый...

Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела.

– Странно, – сказала княгиня. – Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог... Посредничество тут менее всего нужно!.. Образованный человек, и вдруг... Он вас послал? Сам?

– Сами... Уж больно ему понравились вы... Семейство хорошее.

Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной.

– Странно, – продолжала княгиня. – Удивительно... Не знаю даже, что и сказать вам... Я никак не ожидала этого от доктора... К чему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловать... обидно даже... За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь... Да и купцы теперь стали иначе жить.

– Тип! – промычал Егорушка, с презрением поглядывая на старухину головку.

Дорого дал бы отставной гусар, если бы ему позволено было хоть раз «щелкнуть» по этой головке! Он не любил старух, как большая собака не любит кошек, и приходил чисто в собачий восторг, когда видел голову, похожую на дыньку.

– Что ж, матушка? – сказала сваха, вздыхая. – Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что, матушка-княгинюшка... Благодетели ведь вы наши. Ох, грехи, грехи! А нешто он не благородный? И образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякою Господь его наделил, Царица Небесная... А ежели желаете, чтобы к вам пришел, то извольте... Препожалует. Отчего не прийти? Прийти можно...

И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо:

– Шестьдесят тысяч просит... Известное дело! Жена женой, а деньги деньгами. Сами извольте знать... Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать... Чтоб свой капитал имела...

Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла.

– Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, – сказала она. – Обижены... Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать... Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдет! Всякое терпение может лопнуть!

По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала:

– Вот до чего мы дожили! – заголосила она. – Боже мой! Какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей, делает нам предложение! Благородный!.. Благородный! Ха! Ха! Скажите пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал! Нет вашего отца! Он не оставил бы этого даром! Пошлый дурак! Хам!

Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Ее оскорблял малейший намек на ее бедность. Проголосила она до позднего вечера и ночью просыпалась два раза, чтобы поплакать.

Но ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросило в сильнейшую лихорадку. Дрожа всеми членами, она упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил, решать вопрос:

«Неужели?!»

Вопрос головоломный. Маруся и не знала, что ответить себе на него. Он выражал и ее удивление, и смущение, и тайную радость, в которой почему-то ей стыдно было сознаться и которую хотелось скрыть от себя самой.

«Неужели?! Он, Топорков... Не может быть! Что-нибудь да не так! Переверала старуха!»

И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так статен, красив, умен! Он посвятил жизнь свою человечеству и... ездит в таких роскошных санях!

«Неужели?!»

«Его можно любить! – порешила Маруся к вечеру. – О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Пусть мать скажет хоть одно слово – и я уйду от нее! Я согласна!»

Другие вопросы, второстепенные и третьестепенные, ей некогда было решать. Не до них было! При чем тут сваха? За что и когда *он* полюбил *ее*? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена... счастлива... достаточно было с нее и этого.

– Я согласна! – шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении *его* лицо с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомленные глаза. – Пусть приходит! Я согласна.

И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедрою рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которому могла бы порекомендовать «благородного» купца. Топорков не посылал ее специально к Приклонским. Он послал ее «куда хочешь». К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно все одно, куда бы ни пошла сваха... Ему нужны были... шестьдесят тысяч. Шестьдесят тысяч, не менее! Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму ему было негде, на рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал. Маруся же в его желании опутать себя узами Гименея была, ей-Богу, несколько виновата!

В первом часу ночи в спальную Маруси тихо вошел Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Ее утомило ее неожиданное счастье: ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить без умолку и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой морщинке Егорушкиного лица сидела тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на ее ноги и нагнулся слегка к ее уху.

– Знаешь, что я скажу тебе, Маша? – начал он тихо. – Я откровенно скажу... Взгляд свой, того... Потому что ведь я для твоего же счастья. Ты спишь? Я для твоего же счастья... Выходи за того... за Топоркова! Не ломайся, а выходи себе, да и... шабаш! Человек он во всех отношениях... И богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй.

Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топоркову.

– Зато он богат! Без хлеба сидеть не будешь по крайней мере. А покудова князя или графа поджидать будешь, так и с голоду подохнешь чего доброго... У нас ведь нет ни копейки! Фють! Пусто! Да ты спишь, что ли? А? Молчанье – знак согласия?

Маруся улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко, первый раз в жизни, поцеловал ее руку.

– И выходи... Он образованный человек. А как нам хорошо будет! Старуха выть перестанет!

И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он мотнул головой и сказал:

– Только вот что мне непонятно... За каким чертом он эту сваху присылал? Отчего сам не пришел? Тут что-нибудь да не так... Он не такой человек, чтобы сваху присылать.

«Это правда, – подумала Маруся, почему-то вздрогнув. – Тут что-нибудь да не так... Сваху глупо посылать. В самом деле, что это значит?»

Егорушка, обыкновенно не обладавший умением соображать, на этот раз сообразил:

– Впрочем, ведь ему самому некогда шляться. Целый день занят. Как угорелый по больным бегает.

Маруся успокоилась, но ненадолго. Егорушка помолчал немного и сказал:

– И вот что еще для меня непонятно: он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше шестидесяти тысяч. Ты слышала? «Иначе, говорит, нельзя».

Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза ее заискрились, и щеки запылали.

– Это старуха говорит? – сказала она, дернув Егорушку за руку. – Скажи ей, что это ложь! Эти люди, такие, то есть, как он... не могут говорить этого. Он и... деньги?! Ха-ха! Эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, некорыстолюбив! Да! Это прекраснейший человек! Его не хотят понять!

– И я так думаю, – сказал Егорушка. – Старуха наврала. Прислужиться ему, должно быть, захотела. Привыкла там у купцов!

Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся.

– Мать ревет, – сказал он. – Ну, да мы на нее не посмотрим. И так, значит, того? Согласна? И отлично. Ломаться нечего. Докторша... Ха-ха! Докторша!

Егорушка похлопал Марусю по подошве и, очень довольный, вышел из ее спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу.

«Шампанского нужно будет взять у Аболтухова, – думал он, засыпая. – Закуски брать у Корчатова... У него икра свежая. Ну, и омары...»

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В одиннадцать часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороных перед самыми окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся с розовой ленточкой в волосах.

«Ему некогда, – думала Маруся, любуясь им. – В воскресенье приедет...»

Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три... Он, разумеется, и не думал о Приклонских, а Маруся ждала и худела от ожидания... Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце.

«Отчего же он не едет? – спрашивала она себя. – Отчего? А... знаю... Он обижен за то, что... За что он обижен? За то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его...»

– С-с-с-скотина! – бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого высшего сорта.

После Пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать.

Однажды Егорушка вошел к ней в спальную и, злобно хохоча, сообщил ей, что ее «жених» женился на купчихе...

– Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!

Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней.

Она пала духом и не день, а месяцы олицетворяла собой невыразимую тоску и отчаяние. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Но как пристрастно и несправедливо чувство! Маруся и тут нашла оправдание *его* поступку. Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить.

«Он назло женился на этой дуре, – думала Маруся. – О, как мы нехорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений!»

На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем – задурила Маруся! Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, туняйцы, кутилы! Она захандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затаила она скучную, бесцветную жизнь, на которую так способны наши

девы, старые и молодые... Она не замечала женихов, которых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Приклонских, со всем его историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь заключалась во сне.

Но грянул гром – и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами... Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

Глава III

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя.

На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака сплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску.

Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки.

Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Слепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему?

«Я иду лечиться!» – думала она.

Но не верьте ей, читатель! На ее лице недаром читается борьба.

Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца дернула за звонок. Через минуту за дверью послышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В двери щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной.

– Доктор дома?

– Мы сегодня не принимаем. Завтра! – отвечала горничная и, задрожав от пахнувшей на нее сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси, задрожала и с шумом заперлась.

Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский!

В маленькой гостиной, на диване, обитом новым, лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Сидел он по-турецки, поджав под себя ноги. Около него, на полу, лежала его приятельница Калерия Ивановна. Оба играли в «носки» и пили. Князь пил пиво, его Дульцинея мадеру. Выигравший, вместе с правом ударить противника по носу, получал и двугривенный. Калерии Ивановне, как даме, делалась маленькая уступка: вместо двугривенного она могла платить поцелуем. Эта игра доставляла обоим невыразимое наслаждение. Они покатывались со смеха, щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй.

Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьиными глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к Приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и т. д.

– Ты поговори-ка с ней! – убеждал сестру Егорушка. – Умница! Страсть!

Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя, когда ему приходилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ... Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Приклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут. Она – жена клубного маркера, только всего, но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме Приклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол.

Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская, Марусина же доля была ничтожна. Но и этой доли было бы достаточно для безбедного житья, если бы Егорушка не имел столько прихотей.

Он, не хотевший и не умевший работать, не хотел верить тому, что он беден, и выходил из себя, если его заставляли мириться с обстоятельствами и по возможности умерять свои прихоти.

– Калерия Ивановна не любит телятины, – говорил он нередко Марусе. – Нужно для нее цыплят жарить. Черт вас знает! Беретесь хозяйничать, а не умеете! Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины! Мы уморим с голоду эту женщину!

Маруся слегка противоречила и, чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка.

– Отчего сегодня жаркого не было? – кричал иногда Егорушка.

– Оттого, что мы вчера цыплят ели, – отвечала Маруся.

Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пива, для Калерии Ивановны – вина.

– Может ли порядочный обед быть без вина? – спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. – Никифор! Чтоб было вино! Твое дело смотреть за этим! А тебе, Маша, стыдно! Не браться же мне самому за хозяйство! Как вам нравится выводить меня из терпения!

Это был необузданный сибарит! Скоро Калерия Ивановна явилась ему на помощь.

– Вино для князя есть? – спрашивала она, когда накрывали стол для обеда. – А где пиво? Нужно сходить за пивом! Княжна, выдайте человеку на пиво! У вас есть мелкие?

Княжна говорила, что есть мелкие, и отдавала последнее. Егорушка и Калерия ели и пили и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещь за вещь, уходили в ссуду, как продавались старьевщикам ее дорогие платья.

Они не видели и не слышали, с каким кряхтеньем и бормотаньем старый Никифор отпирал свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям, князю и его мещанке, никакого дела не было до всего этого!

На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла ей та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала:

– Вы ведь знаете, барышня? Доктор меньше пяти рублей за совет не берут-с. Это вы знайте-с.

«Для чего это она мне говорит? – подумала Маруся. – Какое нахальство! Он, бедный, и не знает, что у него такая нахальная прислуга!»

И в то же время у Маруси екнуло около сердца: у нее в кармане было только три рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей.

Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных. Большинство жажущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемном зале мебель, расселись группами и беседовали. Беседы велись самые оживленные о всем и обо всех: о погоде, о болезнях, о докторе, о детях... Говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Некоторые, в ожидании очереди, вязали и вышивали. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Входили с бледными лицами, серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, точно снявшие с себя какое-то непосильное бремя, очастливленные. Каждую больной Топорков занимался не более десяти минут. Болезни, должно быть, были неважные.

«Как все это похоже на шарлатанство!» – подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой.

Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала, как дрожит курица, которую окунули в холодную воду. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол.

«Как он красив!» – прежде всего мелькнуло в голове его пациентки.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Поза, в которой его застала Маруся, напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руки его, упиравшейся о стол, валялись десяти- и пятирублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали, в строгом порядке, инструменты, машинки, трубки – все крайне непонятное, крайне «ученое» для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, все вместе взятое, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собою дверь и остановилась... Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло, vis-a-vis³, и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси.

«Он не узнал меня! – подумала Маруся. – Иначе бы он не молчал... Боже мой, зачем он молчит? Ну, как мне начать?»

– Ну-с? – промычал Топорков.

– Кашель, – прошептала Маруся и, как бы в подтверждение своих слов, два раза кашлянула.

– Давно?

– Два месяца уж есть... По ночам больше.

– Угм... Лихорадка?

– Нет, лихорадки, кажется, нет...

– Вы лечились, кажется, у меня? Что у вас было раньше?

– Воспаление легких.

– Угм... Да, помню... Вы, кажется, Приклонская?

– Да... У меня и брат тогда же был нездоров.

– Будете принимать этот порошок... перед сном... избегать простуды...

Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась.

– Больше ничего?

– Ничего.

Топорков уставил на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош! Прочла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидание, подала ему трехрублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за ней дверь.

Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась:

«Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Трусиха я, вот что! Глупо как-то все вышло... Только обеспокоила. Зачем я держала эти подлые деньги в руках, точно напоказ? Деньги – это такая щекотливая вещь... Храни Бог! Обидеть можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно это было. Ну, зачем я молчала?... Он рассказал бы мне, объяснил... Видно было бы, для чего сваха приходила...»

Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Но не удалось ей успокоиться. В ее комнату вошел Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами.

³ напротив (*франц.*).

Лицо его было таинственно...

– Чего тебе? – спросила Маруся.

– А-а-а... А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить... очень приятное. Калерия Ивановна хочет у нас жить. Я ее упросил.

– Это невозможно! C'est impossible!⁴ Кого ты просил?

– Отчего же невозможно? Она очень хорошая... Помогать тебе в хозяйстве будет. Мы ее в угольную комнату поместим.

– В угольной татап умерла! Это невозможно!

Маруся задвигалась, затряслась, точно ее укололи. Красные пятна выступили на ее щеках.

– Это невозможно! Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной! Голубчик, Жорж, не нужно! Не нужно! Милый мой! Ну, я прошу!

– Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба... Умная, веселая.

– Я ее не люблю...

– Ну, а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной!

Маруся заплакала... Ее бледное лицо исказилось отчаянием...

– Я умру, если она будет жить здесь...

Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошел.

– Займи мне рубль, – сказал он.

Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по ее мнению, происходила теперь ужасная борьба: любовь к Калерии боролась с чувством долга!

Вечером к княжне зашла Калерия.

⁴ Это невозможно! (франц.)



– За что вы меня не любите? – спросила Калерия, обнимая княжну. – Ведь я несчастная! Маруся освободилась от ее объятий и сказала:
– Мне не за что вас любить!

Дорого же она заплатила за эту фразу! Калерия, поместившись через неделю в комнате, в которой умерла татап, нашла нужным прежде всего отомстить за эту фразу. Мечь выбрала она самую топорную.

– И чего вы так ломаетесь? – спрашивала она княжну за каждым обедом. – При такой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям кланяться. Если б я знала, что у вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего братца!?! – прибавила она со вздохом.

Упреки, намеки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушке нипочем был этот смех. Он считал себя должным Калерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги маркера и содержанки Егорушки.

По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и, беспомощная, слабая, нерешительная, проливая слезы на широкие ладони Никифора. Никифор хныкал вместо с ней и разъедал Марусины раны воспоминаниями о прошлом.

– Бог их накажет! – утешал он ее. – А вы не плачьте.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову.

Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный... На этот раз лицо его было сильно утомлено... Глаза мигали, как у человека, которому не дают спать. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло *vis-a-vis*. Она села.

«У него печаль на лице, – подумала Маруся, глядя на него. – Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой!»

Минуту просидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями.

– Кашель, – прошептала она.

Доктор мельком взглянул на нее.

– Гм... Лихорадка?

– Да, по вечерам...

– Ночью потеете?

– Да...

– Разденьтесь...

– То есть как?..

Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся, краснея, медленно расстегнула на груди пуговицы.

– Разденьтесь. Поскорей, пожалуйста!.. – сказал Топорков и взял в руки молоточек.

Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платье.

– Расстегните сорочку! – сказала он и, не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и, к великому ужасу своей пациентки, принялся стучать молотком по белой исхудалой груди...

– Пустите руки... Не мешайте. Я вас не съем, – бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю.

Постукав, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки левого легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание.

– Оденьтесь, – сказал Топорков и начал задавать вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

– Вам нужно ехать в Самару, – сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. – Будете там кумыс пить. Я кончил. Вы свободны...

Маруся кое-как застегнула свои пуговицы, неловко подала ему пять рублей и, немного постояв, вышла из ученого кабинета.

«Он держал меня целых полчаса, – думала она, идя домой, – а я молчала! Молчала! Отчего я не поговорила с ним?»

Она шла домой и думала не о Самаре, а о докторе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова!

Бог с ней, с этой Самарой! Она шла, злилась и в то же время торжествовала: он признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю! У него в кабинете так хорошо, так уютно! Особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. С богатых, разумеется, можно и должно брать дорого, но бедным больным нужно делать уступку.

«Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного, – думала Маруся. – Я научила бы его!»

И на этот раз дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. Он рыдал, бранился, дрожал, как в лихорадке. По его пьяному лицу текли слезы.

– Калерия ушла! – голосил он. – Уже две ночи дома не ночевала! Она рассердилась!

Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб.

Распутство Егорушки достигло апогея... Ему мало было Марусиной пенсии, и он начал «работать». Он занимал деньги у прислуги, шулерничал в картах, воровал у Маруси деньги и вещи. Однажды, идя рядом с Марусей, он вытащил из ее кармана два рубля, которые она скопила для того, чтобы купить себе башмаки. Один рубль он оставил себе, а на другой купил Калерии груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Приклонских, знакомые Маруси, теперь в глаза величали его «сиятельным шулером». Даже «девицы» в «Шато де Флер» недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать.

Маруся видела и понимала этот апогей распутства...

Бесцеремонность Калерии тоже шла crescendo⁵.

– Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях, – сказала ей однажды Маруся.

– Ничего от этого вашим платьям не сделается, – ответила Калерия. – А ежели вы меня считаете воровкой, то... извольте. Я уйду.

И Егорушка, проклиная сестру, целую неделю провалялся у ног Калерии, прося ее не уходить.

Но недолго может продолжаться такая жизнь. Всякая повесть имеет конец, кончился и этот маленький роман.

Наступила Масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую вы предчувствуете весну...

В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси... Егорушки и Калерии не было дома.

– Я горю, Никифор, – говорила Маруся.

А Никифор хныкал и разъедал ее раны воспоминаниями о прошлом... Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытье... Описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Многое рассказал Никифор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы, пять лет тому назад проданной за долги.

– Выйдешь, бывало, на террасу... Весна это зачинается. И Боже мой! Глаз бы не отрывал от света Божьего! Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием-с! Речка славная,

⁵ возрастающая (итал.).

глубокая... Маменька ваша во младости изволила рыбку ловить удочкой... Стоят над водой, бывальчя, по целым дням... Любили-с на воздухе быть... Природа!

Охрип Никифор, рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала все то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо, и ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать... Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце... Хорошо жить!

– Голубчик, Никифор, – проговорила Маруся, сжав его сухую руку, – миленький... Займи мне завтра пять рублей... В последний раз... Можно?

– Можно-с... У меня только и есть пять. Возьмите-с, а там Бог пошлет...

– Я отдам, голубчик. Ты займи...

На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней Топоркова встретила ее новая горничная.

– Вы знаете? – спросила Марусю новая горничная, стаскивая с нее пальто. – Доктор меньше пяти рублей не берет за совет...

Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на рояле. Прием больных начался в десять часов. В двенадцать доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в два. Марусина очередь настала только тогда, когда было четыре часа.

Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожая от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле, против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья... Мелькала *его* голова, мелькали руки, молоточек...

– Вы ездили в Самару? – спросил ее доктор. – Почему вы не ездили?

Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого легкого.

– Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, – сказал Топорков.

И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание.

– Не поеду, – прошептала она.

– Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи...

Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.

Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на егодвигающиеся губы. Ей показалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, устал на нее свои очки.

Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле и страшно было идти домой, к Калерии.

– Я кончил, – сказал доктор. – Вы свободны.

Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.

«Не гоните меня!» – прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом.

Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла.

– Я люблю вас, доктор! – прошептала она.

И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее.

– Я люблю вас! – прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола.

А доктор? Доктор... покраснел первый раз за все время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слышал он таких слов и в такой форме! Ни от одной женщины! Не ослышался ли он?

Сердце беспокойно заворчалось и застучало... Он конфузливо закашлялся.

– Миколаша! – послышался голос из соседней комнаты, и в полуотворенной двери показались две розовые щеки его купчихи.

Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придраться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения.

Когда, через десять минут, он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Топорков, красный, с стучающим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек и закоулочков платья посыпались на диван *его* рецепты, *его* карточки, визитные и фотографические...

Доктор брызнул водой в ее лицо... Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на доктора, задумалась. Ее занимал вопрос: где я?

– Люблю вас! – простонала она, узнав доктора.

И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.

– Что же я могу сделать? – спросил он, не зная, что делать... Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным...

Локоть ее подогнулся, и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него...

Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое... Тысяча непрощенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза, с любовью и мольбой?

Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодетельницы в тяжелых салопах, духовное училище, куда отдали его за «голос». Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда... Трудная дорога!

Наконец он победил, лбом своим пробил туннель к жизни, прошел этот туннель и... что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь...

Топорков искоса поглядел на десяти- и пятирублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел... Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, только для них...

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

– Что же я могу сделать? – прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза.

Ему стало стыдно этих глаз.

А что, если она спросит: что ты сделал и что приобрел за все время своей практики?

Пятирублевки и десятирублевки, и ничего больше! Наука, жизнь, покой, все отдано им. А они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, все то, одним словом, что называется комфортом.

Вспомнил Топорков свои семинарские «идеалы» и университетские мечты, и страшную, невылазную грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трехсотрублевые часы!

Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами...

– Не лежи здесь! – сказал он и отвернулся от дивана.

И, как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь... Около его золотых очков заблестали чужие глаза. И что за глаза! Так и хочется дотронуться до них пальцем!

– Дай мне чаю! – прошептала она.

* * *

На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Станный человек! Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее... Всю дорогу он постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстучать и выслушать на ее груди хоть маленькую надежду!

Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути.

Он все отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня... Но не спасло солнце от мрака и... не цвести цветам поздней осенью!

Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней.

Топорков, по приезде из Франции, зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство... Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо...

Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка очень доволен.

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не беспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

– Ничего, ничего...

– Ради Бога, извините. Я ведь... я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

– Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!...»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал соорудил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-Богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

– Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, дерева, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велют красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велют в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню,

нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке, на окне, крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед кричал, и мороз кричал, а глядя на них, и Ванька кричал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

– Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа.

Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насили очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубаше выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

Унтер Пришибеев

– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю – стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело народ разгонять?

– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хо-рошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопленный труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопленный покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину сле-

дователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.



– Сказывал.

– Все слышали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слышали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничтожать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Пооди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...

– Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

– Но поймите, что это не ваше дело!

– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

– Что у вас записано?

– Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

– «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

– Наррод, расходишь! Не толпись! По домам!

Счастье

Посвящается Я.П. Полонскому



У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стегали ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой – молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали звезды.

Пастухи были не одни. На сажень от них в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям, господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадей, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими.

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты не спавших овец; они стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи.

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и задумался. Молодой пастух не обратил на него никакого внимания; он продолжал лежать и глядеть на небо, старик же долго оглядывал объездчика и спросил:

- Никак Пантелей из Макаровской экономии?
- Я самый, – ответил объездчик.
- То-то я вижу. Не узнал – богатым быть. Откуда Бог несет?
- Из Ковылевского участка.
- Далече. Под скопчину отдаете участок?
- Разное. И под скопчину, и в аренду, и под бахчи. Я, собственно, на мельницу ездил.

Большая старая овчарка грязно-белого цвета, лохматая, с клочьями шерсти у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади и вдруг неожиданно с злобным, старческим хрипеньем бросилась сзади на объездчика, остальные собаки не выдержали и повскакали со своих мест.

– Цыц, проклятая! – крикнул старик, поднимаясь на локте. – А, чтоб ты лопнула, бесова тварь!

Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом:

– А в Ковылях, на самый Вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгadyвать, поганый старик был. Небось слышал.

– Нет, не слышал.

– Ефим Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знает. У, да и проклятый же старик! Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезды были – что ни шаг, то гнездо дудачье. Тогда еще я заметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания все больше молчит, старушечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефимка, бывало, смолоду все молчит и молчит, да на тебя косо глядит, все он словно дуется и

пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак – не было у него такой моды, а все больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бахчевники нанимался.

Бывало, придут к нему добрые люди на бахчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях шуку, а она – го-го-го-го! захохотала...

– Это бывает, – сказал Пантелей.

Молодой пастух повернулся на бок и пристально, подняв свои черные брови, поглядел на старика.

– А ты слышал, как арбузы свистят? – спросил он.

– Слышать не слышал, Бог миловал, – вздохнул старик, – а люди сказывали. Мудреного мало... Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет. Перед волей у нас три дня и три ночи скеля⁶ гудела. Сам слышал. А шука хохотала, потому Жменя заместо шуки беса поймал.

Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в рукава, залепетал в нос, бабьей скороговоркой:

– Спаси нас, Господи, и помилуй! Шел я раз бережком в Новопавловку. Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани Царица Небесная, Матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов – терен тогда в цвету был – белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь! – а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать, – гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся, – вдруг, братцы, накажи меня Бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая! – крикнул старик на лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади. – А, чтоб ты издохла!

– Это бывает, – сказал объездчик, все еще опираясь на седло и не шевелясь; сказал он это беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в думу.

– Это бывает, – повторил он глубокомысленно и убежденно.

– У, стервячий был старик! – продолжал старик уже не так горячо. – Лет через пять после воли его миром в конторе посекали, так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял да и напустил на все Ковыли горловую болезнь. Повымерло тогда народу без счету, видимо-невидимо, словно в холеру...

– А как он болезнь напустил? – спросил молодой пастух после некоторого молчания.

– Известно как. Тут ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьим жиром морил. А это такое средство, что не то, что от жиру, даже от духу народ мрет.

– Это верно, – согласился Пантелей.

– Хотели его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать: он знал места, где клады есть. А кроме него, ни одна душа не знала. Клады тут заговоренные, так что найдешь и не увидишь, а он видел. Бывало, идет бережком или лесом, а под кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такие, как будто словно от серы. Я сам видел. Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он – сказано, сама собака не ест и другим не дает – так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал.

Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мелкие круги света прыгнули от его рук к картузу, побежали через седло по лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей.

– В этих местах много кладов, – сказал он.

⁶ скала. (Прим. А.П. Чехова.)

И, медленно затянувшись, он поглядел вокруг себя, остановил свой взгляд на белеющем востоке и добавил:

– Должны быть клады.

– Что и говорить, – вздохнул старик. – По всему видать, что есть, только, брат, копать их некому. Никто настоящих местов не знает, да по нынешнему времени, почитай, все клады заговоренные. Чтоб его найти и увидеть, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у черта лысого, выпросишь? Он и держал-то их, чтоб никому не досталось.

Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страха и любопытства засветилось в его темных глазах и, как казалось в сумерках, растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица. Он напряженно слушал.

– И в писаниях писано, что кладов тут много, – продолжал старик. – Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику солдату в Ивановке ярлык показывали, так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота и в какой посуде; давно б по этому ярлыку клад достали, да только клад заговоренный, не подступишься.

– Отчего же, дед, не подступишься? – спросил молодой.

– Должно, причина какая есть, не сказывал солдат. Заговоренный... Талисман надо.

Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и тощих плеч; при каждом движении его холщовая рубаха мялась в складки, ползла к плечам и обнажала черную от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла. Наконец старик, точно выведенный из терпения непослушной рубахой, вскочил и заговорил с горечью:

– Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберет. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди – не дождешься! Есть квас, да не про вас!

Старик презрительно засмеялся и сел на землю. Объездчик слушал со вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что все, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику.

– На своем веку я, признаться, раз десять искал счастья, – сказал старик, конфузливо почесываясь. – На настоящих местах искал, да, знать, попадал все на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал – ни шута не находили, так и умерли без счастья. Брату моему Илье, Царство ему Небесное, один монах открыл, что в Таганроге, в крепости, в одном месте под тремя камнями клад есть и что клад этот заговоренный, а в те поры – было это, помню, в тридцать восьмом году – в Матвеевом Кургане армяшка жил, талисманы продавал. Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Таганрог. Только, брат, подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит...

В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударились о камень и побежало по степи, издавая: «тах! тах! тах! тах!». Когда звук замер, старик вопросительно поглядел на равнодушного, неподвижно стоявшего Пантелея.

– Это в шахтах бадья сорвалась, – сказал молодой, подумав.

Уже светало. Млечный Путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания. Небо становилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто сплошь

облаками, и только по ясной, глянцеви́той полосе на востоке и по кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело.

Первый утренний ветерок без шороха, осторожно шевеля молочаем и бурями стеблями прошлогоднего бурьяна, пробежал вдоль дороги.

Объездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обеими руками он потряс седло, потрогал подпругу и, как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье.

– Да, – сказал он, – близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать его.

И он повернулся лицом к пастухам. Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного.

– Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть... – сказал он с расстановкой, поднимая левую ногу к стремени. – Кто помоложе, может, и дождется, а нам уж и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, он грузно уселся на лошади и с таким видом, как будто забыл что-то или не досказал, прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничную степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой.

Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи – ни в чем не видно было смысла. Объездчик усмехнулся и сказал:

– Экая ширь, Господи помилуй! Пойди-ка найди счастье! Тут, – продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным, – тут наверняка зарыты два клада. Господа про них не знают, а старым мужикам, особливо солдатам, до точности про них известно. Тут, где-то на этом кряже (объездчик указал в сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караван с золотом; золото это везли из Петербурга Петру-императору, который тогда в Воронеже флот строил. Разбойники побили возчиков, а золото закопали, да потом и не нашли. Другой же клад наши донские казаки зарыли. В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали дорогой, что начальство хочет у них отобрать все золото и серебро. Чем начальству так зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтоб хоть детям досталось, а где зарыли – неизвестно.

– Я слышал про эти клады, – угрюмо пробормотал старик.

– Да, – задумался опять Пантелей. – Так...

Наступило молчание. Объездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повод все с тем же выражением, как будто забыл что-то или не досказал. Лошадь неохотно пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стегнув по лошади, поскакал рысью.

Пастухи остались одни.

– Это Пантелей из Макаровской экономии, – сказал старик. – Полтора́ста в год получает, на хозяйских харчах. Образованный человек...

Проснувшиеся овцы – их было около трех тысяч – неохотно, от нечего делать принялись за невысокую, наполовину утопанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако Саур-Могилы с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молочан, деревни, а дальнорский калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молча-

ливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей.

Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся. Он молчал и думал. С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства. Он находился под впечатлением слышанного и с нетерпением ждал новых рассказов.

– Дед, – спросил он, поднимаясь и беря свою герлыгу, – что же твой брат Илья с солдатом сделал?

Старик не расслышал вопроса. Он рассеянно поглядел на молодого и ответил, пошамкав губами:

– А я, Санька, все думаю про тот ярлык, что в Ивановке солдату показывали. Я Пантелею не сказал, Бог с ним, а ведь в ярлыке обозначено такое место, что даже баба найдет. Знаешь, какое место? В Богатой Балочке, в том, знаешь, месте, где балка, как гусяная лапка, расходится на три балочки; так в средней.

– Что ж, будешь рыть?

– Попытаю счастья...

– Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его?

– Я-то? – усмехнулся старик. – Гм!.. Только бы найти, а то... показал бы я всем кузькину мать... Гм!.. Знаю, что делать...

И старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом, если найдет его. За всю жизнь этот вопрос представился ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. В голове Саньки копошилось еще одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости? Но недоумение это Санька не умел вылить в вопрос, да едва ли бы старик нашел, что ответить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багровое солнце. Широкие полосы света, еще холодные, купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепка, васильки – все это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая. Первого не отпускали мысли о счастье, второй же думал о том, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья.

Сотня овец вздрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу, бросилась в сторону от отары. И Санька, как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщили и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул:

– Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

А когда солнце, обещая долгий, непобедимый зной, стало припекать землю, все живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон. Старик и Санька со своими герлыгами стояли у противоположных краев отары, стояли не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

Володя



В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, на завтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре $2\frac{3}{4}$. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что м-те Шумихина и ее племянницы глядят на него и его маман как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают маман и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как м-те Шумихина говорила на террасе своей кухне Анне Федоровне, что его маман продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял маман не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния – свое и мужнино, всегда тяготевавшая к высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и немолода – Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о маман, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

– Это не любовь, – говорил он себе. – В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нютой – и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде...

В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

– Кто тут? – спрашивала Нюта, входя в беседку. – Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на

голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею, и грудь.

– Что же вы молчите? – спросила Нюта, оглядывая Володю. – Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая пухлая рука, и думал...

– Молчит! – удивлялась Нюта. – Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фу, противный философ! – засмеялась она. – А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

– Молчат и любят уединение только очень гордые люди, – продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. – Вы гордец, Володя. Почему вы смотрите исподлобья? Извольте мне смотреть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

– Я... я люблю вас! – проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

– Что слышу я?! – запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. – Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

– Я... я люблю вас! – повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

– Bravo, bravo! – услышал он веселый смех. – Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом:

– Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

«Ах, поскорее бы уехать отсюда! – думал он, хватая себя за голову. – Боже, поскорее бы!»

Поезд, на котором должен был ехать Володя с маман, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь маман.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-ме Шумихина, маман и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

– Уверю вас! – говорила Нюта. – Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

– Неужели! – ахнула маман, закатываясь протяжным смехом. – Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух.

«И как они могут говорить вслух об этом! – мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. – Говорят вслух, хладнокровно... И маман смеялась... маман! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?»

Но идти в дом нужно было во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

– Что же вы не приходите вовремя чай пить? – строго спросила м-ме Шумихина.

– Виноват, мне... мне пора ехать, – забормотал он, не поднимая глаз. – Маман, уж восемь часов!

– Поезжай сам, мой милый, – сказала томно маман, – я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

– Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия – все это с поразительной ясностью предстало в его воображении и все это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

«Пустяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, – думал он, – значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы...»

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то – вот и случай!

«Вернусь, – думал он, – а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду».

И он вернулся... М-ме Шумихина, маман, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они

играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Ньюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Ньюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим все будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

«Как это все глупо! – досадовал Володя, ложась в постель. – Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего...»

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колени, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Ньютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а «молодым человеком». А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он все сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула, и в комнату вошла мамап.

– Ты не спишь? – спросила она, зевая. – Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

– Зачем вам?

– У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкафчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

– Марья Леонтьевна, это не те капли! – услышал через минуту Володя женский голос. – Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Ньюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накиннул на плечи шинель и пошел к двери.

– Понимаете? Морфин! – объясняла шепотом Ньюта. – Там должно быть написано полтачины. Разбудите Володю, он найдет...

Мамап открыла дверь, и Володя увидел Ньюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

– Вот Володя не спит... – сказала она. – Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Мамап что-то пробормотала, зевнула и ушла.

– Ищите же, – сказала Ньюта. – Что стоите?

Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, мамап ушла, – думал он. – Это хорошо... хорошо...»

– Скоро же? – спросила протяжно Ньюта.

– Сейчас... Вот это, кажется, морфин... – сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово «morph...» – Извольте!

Ньюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить – так они были густы и длинны! – и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

– Какая вы...

– Что?

Она вошла в комнату.

– Что? – спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

– Я вас люблю... – прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

– Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! – говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. – Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он – все слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и все это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

– Однако мне нужно уходить, – сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю. – Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

«Гадкий утенок... – думал он после того, как она ушла. – В самом деле, я гадок... Все гадо».

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни татап, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

«Ну его, все к черту!» – думал он.

Встал он с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

«Совершенно верно... Гадкий утенок».

Когда татап увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

– Я проспал, татап... Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство.

М-ме Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся м-ме Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и татап), как замелькало умытое, смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку – так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи несколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с татап на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести – все это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль татап, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Ньютою, и бормотал:

– Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

– Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему все слышно!

– Не люблю... не люблю! – продолжал он, задыхаясь. – Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватер-пруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

– Опомнись, дитя мое! – заплакала татап. – Кучер услышит!

– А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы все промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Все время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

– Вероятно, у вас зубы болят?

В городе татап и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Матап нанимала две комнаты: в одной, с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и, кроме этого дивана, не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла татап. Уроки приготовлял Володя в комнате матери или в «общей» – так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от татап, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из «общей»; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был... Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, все же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

«Нет, здесь холодно», – подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в «общую».

В «общей» пили чай. За самоваром сидели трое: татап, учительница музыки, старушка в черепяховом *pinse-peze*, и Августин Михайлович, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

– Я сегодня не обедала, – говорила татап. – Надо бы горничную послать за хлебом.

– Дуняш! – крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

– О, это ничего не означает, – сказал француз, широко улыбаясь. – Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую, вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его татап стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

– Ведь Лили Шумихина моя родственница... – говорила она. – Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

– Мамап, это неправда! – сказал раздраженно Володя. – Зачем лгать?

Он знал отлично, что мамап говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

– Вы лжете! – повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у мамап расплескался чай. – Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а мамап заплакала.

«Куда уйти?» – подумал Володя.

На улице он уж был; к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки-англичанки... Он прошелся из угла в угол по «общей» и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

– Полноте, не обращайтесь внимания! – утешала в соседней комнате учительница музыки мамап. – Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

– Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! – говорила мамап нараспев. – Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу шинели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

– Кажется, это надо поднять... – соображал он. – Да, кажется...

В «общую» вошел Августин Михайлыч и, хохоча, стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то с страшной силой ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом все смешалось и исчезло...

Скучная история (Из записок старого человека)



Глава I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое, по крайней мере, за последние двадцать пять – тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границу оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их все в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный мальчик. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве, когда бываю я болен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я потерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избежать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или по-английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которую страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели

и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сажусь неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф, или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью – значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнувшая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

– Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей – это главным образом и служит темой для нашего разговора.

– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, славу Богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки – и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варей, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

– Что ж это я сижу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, Господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета Бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

– Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилем всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

– Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложите все это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, – мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «*Historia morbi*»⁷. Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая

⁷ «История болезни» (лат.).

студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не отремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распаивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крикает и говорит:

– Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

– Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и открывает на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдаётся в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остроумиями, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай

свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное – и в этом отношении он не человек, а золото, в остальном же прочем – это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

– Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:

– Какой это Скобелев?

В другой раз – это было несколько раньше – я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:

– А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

– Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно,

впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное «в прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтора лица, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, – это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить

свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать – тридцать лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Нелегко переживать такие минуты.

Глава II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

– Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ошупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: «Вы изволили справедливо заметить» или «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

– Садитесь, – говорю я гостю. – Что скажете?

– Извините, профессор, за беспокойство... – начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. – Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне «удовлетворительно», потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

– Извините, мой друг, – говорю я гостю, – поставить вам «удовлетворительно» я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

– По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, – это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

– Простите, профессор, – усмехается он, – но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

– Ну, да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

– Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

– Когда? – глухо спрашивает лентяй.

– Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

– Конечно, – говорю я, – вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, тербит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

– Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне «удовлетворительно», то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

– В таком случае прощайте... Извините.

– Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуются. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

– Очень рад быть полезным, коллега, – говорю я, – но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

– Что вы все ко мне ходите, не понимаю? – кричу я сердито. – Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудачком.

– У меня не лавочка! – сержусь я. – И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит не нужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и жила у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это – необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопчет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

– Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.

– Дерутся, милая.

– А вы ставите их на колени?

– Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть – и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было четырнадцать – пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

– Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

– Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась, потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать – сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутинной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймашь. Не знаю, что будет через пятьдесят – сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы – лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры – миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, – и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходо-

владельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества... Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерам, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступить, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...» – и так далее, все в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал

и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – избыток на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, это она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости.

Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платю и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

– А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

– Не нужно, Катя.

– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно...

– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и Бог с ней. Не на колени же нам становиться.

– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутора десятков молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы

понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в Средние века. И по-моему, вполне благо разумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабранными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке, и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого, к тому же, мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мешанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры шурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедают существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки...

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и

почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и лецца с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный мальчик, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет лецца с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катинной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится... Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» – и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и шурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня *votre excellence*⁸.

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я

⁸ ваше превосходительство (*франц.*).

кую, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

– Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, – начинает она. – Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

– То есть?

– Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

– Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

– Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

– Так нельзя относиться к серьезному шагу... – говорит она. – Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не Бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

– Откуда тебе это известно?

– Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

– Зачем?

– Ты разузнаешь там... У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

– Не поеду я в Харьков, – говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

– Ради Бога, Николай Степаныч! – умоляет она меня, всхлипывая. – Ради Бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

– Хорошо, Варя, – говорю я ласково. – Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

Глава III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

– А ты все лежишь, – говорю я, помолчав немного и отдохнув. – Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

– А?

– Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

– Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

– Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

– Замуж бы выходила, – говорю я полушутя.

– Не за кого. Да и незачем.

– Так жить нельзя.

– Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

– Это, Катя, некрасиво.

– Что некрасиво?

– Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

– Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

– Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

– Плохо дело, моя милая! – начинаю я со вздохом. – Очень плохо...

– Что такое?

– Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена

произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными. . .

– Болезнь тут ни при чем, – перебивает меня Катя. – Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

– Ты говоришь нелепости.

– Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

– Ничтожества! – повторяет она. – Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

– Катя, – говорю я строго, – прошу тебя замолчать.

– А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.

– Что за вздор! А университет?

– И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

– Боже мой, как ты резка! – ужасаюсь я. – Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава Богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

– Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду. . . – рассказываю я. – Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. . . Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины – одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

– Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ, филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями

и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудачки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

– Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутовскому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

– Ох, Господи, – вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. – Бывают же на свете такие комики!

– А что? – спрашивает Катя.

– Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня – теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

– Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как эта наша *alma mater*⁹, не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с той, которая бывает у нас в актовом зале на годовичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.

И тотчас же резкий переход:

– Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками – просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава Богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.

⁹ мать-кормилица (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.